

Вадим Назаров
Круги на воде
Серия «Лабиринты Макса Фрая»

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=17915613
Круги на воде: АСТ;
ISBN 978-5-17-090631-4

Аннотация

Роман-путешествие по истинным границам мира – от Юга до Севера, от Ада до Рая.
Священная история волков – от Сотворения до новой эры. Биография Каина.

Содержание

Первопроходец небесной географии	5
1	5
2	7
3	9
4	10
Вадим Назаров	12
1. Подорожник	14
2. Имя Клёна	17
3. Физик и зверолов	20
4. Небо над Мариной	25
5. Волк Ноя	29
Конец ознакомительного фрагмента.	31

Круги на воде

© Вадим Назаров, текст

© ООО «Издательство АСТ», 2016

* * *

Первопроходец небесной географии

1

Собственно говоря, в словосочетании *небесная география* есть некоторое противоречие, поскольку «география» в дословном переводе с греческого значит *землеописание*. Но уже схема, предваряющая роман может служить объяснением: Евфрат небесный и Евфрат земной плавно перетекают друг в друга – да и остальные реки образуют сквозные коридоры, ведущие (не всех, конечно) в эксклюзивные времена Бога, в первые Семь Дней творения, которые отнюдь не прошли. Это мы проходим, продираясь сквозь сорные времена, сквозь их заросли и колючки, пропитанные медленнодействующим, но верным ядом исчезновения. Философы уже отмечали неточность, заключенную в выражении «время берет свое». Время, с которым мы обычно имеем дело (его-то и отсчитывают стрелки часов), всегда берет чужое – и притом без спросу. А неизрасходуемое время первых Семи Дней не предназначено для массового заселения: нас всех уже слишком много. Только реки, текущие в просторах символического, позволяют совершить путешествие к истокам – но и оно требует собранности, легкого, непривычного для нас транспорта. Ибо мы, по определению, люди устья.

Некоторые сведения об истоках собраны в книге Вадима Назарова. Достоверность сведений в данном случае можно определить единственным образом – тем, как они собраны, в какой букет. Роман «Круги на воде» напоминает букет, собранный по всем правилам искусства и, сверх того, в соответствии с интуицией, побуждающей время от времени отменять правила. Точность отдельных предположений выдает опыт первопроходца, кропотливого исследователя небесной географии. Вот например:

«В небесах, скорее всего, свободного места гораздо меньше, чем в море или на земле».

Небеса заселены плотнее хотя бы потому, что их обитатели не подвержены исчезновению. Вкус смерти доступен лишь тому, кто низвергнут с небес: но, опять же, не каждому, а только наделенному жестоким даром, способностью ощущать привкус бессмертия. Этот привкус есть некое удовольствие, обретаемое в сфере символического и исчезающее тут же, в момент возвращения.

В сущности, роман мог бы иметь подзаголовок: *путевые заметки*. Непрерывные перемещения героев, их трассирующие полеты на мгновение высвечивают обитателей ближних и дальних небес. Обитателей много, из них некоторые названы по именам, а некоторые из названных помещены в прилагаемый ангеларий. Во всем этом сказывается основательность, результат тренированного зрения – но одновременно и решимость верить своим глазам, а не тем описаниям, которые по каким-то причинам считаются сегодня наиболее авторитетными.

Например, ангел-хранитель есть некая реальность, данная нам в ощущении и предвосхищении. Но очередная эпоха великих переименований принесла свои имена, дискредитировав прежние. В новом списке есть пимезон, популяция, энграмма, но нет ни фей, ни эльфов. Однако нет и никаких оснований предвещать долгую судьбу новым именам, данным на одном из поствавилонских наречий: пройдет немного времени и пимезон разделит участь флогистона, ключевого понятия химии XVIII века.

Следует иметь в виду, что мера отчетливости всякого сущего определяется не столько восприятием, сколько именем, выкраивающим из неразличимости нечто единое. Это относится даже к самым простым вещам. Ницше в качестве примера приводит выражение «молния сверкает». Коварство языка заставляет нас предполагать, что помимо акта сверка-

ния существует еще и особый субъект (молния), который при случае способен и *не сверкать*. Ряд порождаемых сущностей легко продолжить: гром гремит, дождь идет, ангел хранит...Субъект, именуемый дождем, не единичен, он окружен близкими родственниками – дождь проливной, ливень, и где-то там, во главе рода, могучие предки, *хляби небесные*. Но семейство ангелов куда более многочисленно: только хранителей в ангеларии Назарова насчитывается девять. Выбор каждого имени обусловлен способом (со)хранения, но по настоящему обоснован лишь силой письма.

Сила письма (или точность называния) – это единственный способ уловить эхо вещей глаголов, единственный путь, сохранившийся и в поствавилонскую эпоху. Но и происходящее в сфере символического отнюдь не остается для нас безнаказанным: вслед за контурами выкраиваемого мира мы наносим на контурную карту самих себя.

– Добро пожаловать ко мне в гости, – говорит автор. А план прилагается – перекресток небесных рек с Невой и с речкой Оредежь. Прилагается и маршрут – текст романа. Смее заверить: тот, кто проследует по маршруту, не пожалеет. Мир, населенный сущностями и существами, точно поименован и выдерживает проверку на зримость.

2

Вадим Назаров родился в Калининграде, в городе, где история была прервана и начата заново, с новым именем. Таких мест не так уж и много на земле. Вероятно, образующаяся прореха благоприятствует наблюдению невидимого, а искусство путешествий вырабатывает твердость руки, важнейшее качество для пишущего. По большому счету – «Круги на воде» – это первое произведение писателя, оставляющее решительно позади пробы пера и оповещающее о *происхождении мастера* как о свершившемся факте. В своей публичной жизни Вадим известен как человек успеха (хотя, конечно, всякое было), как один из лучших издателей и редакторов Петербурга. Кажется, Назарову удавались все те дела, за которые он брался, – так, по крайней мере, о нем говорят.

Но высокая точка старта представляет дополнительную трудность для писателя. Сложившиеся представления увеличивают риск предстать пред лицом читателя – теперь уже *от себя лично*. Следовательно, требуется и большая доля бесстрашия, чтобы выступить в роли автора, смирившись с неизбежной незащищенностью собственного текста. Только многократно подтвержденное признание слегка притупляет это чувство незащищенности, переводя его в состояние тревожного фона.

Что ж, Вадим Назаров безусловно может рассчитывать на первое признание: роман «Круги на воде» только укрепит его репутацию человека успеха. С другой стороны, именно поэтому трудность следующего шага ничуть не уменьшилась: заявка на большую литературную судьбу уже сделана и отступать будет некуда. Читатель, принявший приглашение к путешествию и оценивший по достоинству достопримечательности пути, уже не забудет имени проводника.

Вопрос о влияниях и заимствованиях, в течение двух столетий так волновавший литературную критику, в эпоху постмодерна отступил, наконец, на задний план – даже за пределы тревожного фона. Предъявляемый текст все оправдания содержит только в самом себе, и только способность очаровывать может рассматриваться как единственный критерий оригинальности, как действующий пропуск, завизированный подписью плененного воображения. Пропуск выдан, и, значит, все полномочия получены. Установление литературной родословной становится личным делом *умного читателя*, чем-то сопоставимым со склонностью к разгадыванию кроссвордов. Отличие состоит в том, что заполнить все строки кроссворда не может и сам составитель, более того – неведомые автору лакуны освобождают место для свободы письма. В сущности, художнику нет дела до попутно разгаданного кроссворда, ему важны лишь те пересечения воображаемой и действительной родословной, которые высвечиваются в таинстве текста, и если таинство состоялось, благодарность предшественников заведомо перевешивает задолженность художника.

Так, традиция англографии уходит своими корнями к гностикам, можно выделить несколько периодов расцвета и вспомнить имена хотя бы Дионисия Ареопагита и Бонавентуры. Метод дивинации с успехом применяли великие визионеры от Данте до Даниила Андреева; метод имеет очевидные преимущества, точнее сказать, преимущества очевидности: то, что показано ясно, не требует доказательства:

«Вместе с девственностью она, как и все женщины, потеряла способность различать некоторые оттенки красного, а детей у них не было».

Представленный здесь уровень очевидности можно назвать исчерпывающим, единственная трудность состоит в том, что такой способ демонстрации не поддается изучению. К тому же дар ясновидения сам себе отнюдь не гарантирует способности «яснопоказывания» – в противном случае искусство письма (и вообще искусство) было бы излишним. Испытать влияние, быть очарованным, *учиться у мастеров* – всего этого недостаточно,

чтобы обрести право легкости, когда художник говорит: вот, смотри, – и всякий взглянувший увидит... Назаров обладает правом легкости и распоряжается им *по своему усмотрению*.

Ненавязчивость литературной искусственности – это органичность писателя. Подобно своему приятелю Павлу Крусанову Вадим Назаров тоже мог бы указать какую-нибудь ворону на дереве в качестве строгого, но справедливого учителя чистописания. В романе есть такого рода отсылки:

«Позднее, наяву, я видел изображения, отдаленно напоминавшие лилии из сна. Книга, где я их нашел, называлась *Летний луг глазами майского жука*».

Среди привилегированных объектов желания можно отметить купол Исаакия и мосты Петербурга. Очертания этого города нанесены на контурную карту духовной родины. «Круги на воде» – глубоко петербургский роман.

3

Извилистая траектория путешествия многократно проходит через Петербург. Горние сферы над этим городом особенно плотно населены, а низкое петербургское небо свидетельствует о непрерывности контакта между хранителями и хранимыми. Иногда зазор исчезает вовсе, смыкая сон с явью и соединяя Неву с рекой Фисон, подтверждая каждодневные подозрения, что видимая часть Невы – всего лишь зеркальная проекция тех вод, что были отделены от тверди. Путевой отчет указывает на эту странную особенность, едва уловимую в силу своей очевидности:

«Я провел по лицу ладонью и сквозь пальцы увидел: Поместный Ангельский Собор на ярусах Исаакиевского, строгие книжники Синода, легкомысленный Гений триумфальной колонны, Александриец, попирающий змея. Всюду мне открылись знаки горнего присутствия. Вазы и статуи на крышах только усиливали ощущение необитаемости. Строитель Империи, похоже, и в самом деле творил этот город не для людей. Отсюда и водный простор, привлекающий ветра, и тенистые парки, и смотровые площадки на куполах церквей».

Такова кратчайшая монограмма очарования Города, его формула, реализованная как замысел свыше: Петербург прекрасен со стороны моря, реки и неба – и невзрачен, почти непригоден для обитания изнутри. Что, однако, вполне устраивает зачарованных обитателей, способных здесь жить, – а до прочих Городу нет дела. Близость горнего присутствия объясняет и отсутствующий вид, и склонность вялотекущих разговоров начинаться и заканчиваться невпадом. Зато круги на воде здесь расходятся лучше всего, и раскаты вещей глаголов всего слышнее. Нет лучшего места для стажировки визионера-практиканта. Привыкнув к постоянному вмешательству призраков – полноправных *жилцов*, навечно прописанных в городе, – потом долго приходится стряхивать наваждение символического. Едва ли кто способен жить в Петербурге безвыездно и оставаться невредимым. Тому есть надежные свидетельства – от «Медного всадника» до романов Константина Вагинова, и в книге Назарова можно проследить момент передачи эстафеты, не требующий специального оповещения.

4

Продолжая разговор о *творческом методе*, следует обратить внимание на принадлежность к современной литературной манере в лучшем смысле этого слова. Отказ от психологизма, лишенный даже опасений и поэтому не декларируемый, знаменует собой некую новую степень свободы. Автор избавляется от необходимости иметь дело с такими подзвучивающими реалиями, как характер, мотивировка, – и вообще отказывается от традиционной искажающей оптики реализма. Навязанное в свое время требование неременного описания сюртука или выражения лица героя уже давно дискредитировано как в высшей степени искусственное и вводящее в заблуждение. Перечисление «того, что стояло на столе», можно найти только в книге, подобный перечень никогда не присутствует ни в памяти, ни в структуре нормального человеческого восприятия. Вот мы пьем утром первый глоток кофе: посторонний наивный рассказчик может обставить это событие предметными аксессуарами – желтая керамическая чашечка, потрепанная скатерть, позвякивающая ложечка, купленная еще старшей сестрой в магазине на углу улицы X и улицы Y. Но для нас событие не распадается на отдельные предметы и разворачивается совсем в другом измерении, где-нибудь на кромке отступающего сна и подступающего бодрствования. Из предметов разве что стрелка часов присутствует в сознании – как резец, очерчивающий еще смутные намерения и столь же смутные желания.

Честность самоотчета требует избегать подсказок – готовых шаблонов, отстойников паразитарной словоохотливости. Для уклонения от таких ловушек вполне достаточно начальной школы вкуса. Ловушки психологизма устроены куда более хитро – они требуют, например, выстраивать характер героя, не отступая ни на шаг и усматривая в этой монотонной последовательности некую жизненную достоверность. Что ж, если такова «правда жизни», то придется признать, что она существует только в искусстве – в самой жизни ее нет.

Есть летучие конфигурации желаний, как правило не совпадающие с химерой характера. Помимо психологических мотивов есть просто мотивы, похожие на музыкальные темы; их красота и неожиданность могут быть вполне достаточным основанием для поступка. Мотивировка настоящего писателя не должна слишком далеко отклоняться от мотивировки композитора: когда опытный путешественник по сфере символического наталкивается на границу условности, он становится перебежчиком границы. Роман Назарова можно порекомендовать как инструкцию для перебежчиков.

Выигрыш в свободе (про)зрения выпадает тому, кто научился игнорировать навязчивую видимость повседневности, принудительную телесность и материальность мира, порождаемую очередным поствавилонским наречием. Прозрение не совместимо с подозрением, всегда затрудняющим вольный полет речи. Уклонение от ловушек позволяет вести наблюдение над страннотелами существами, не образующими свойств и тем более черт характера. Например, над племенем зарниц:

«Над полем полыхнули зарницы. Говорят, это тени существ, обитающие в пламени. Должно быть, на брошенной ферме загорелась гнилая солома.

Во время войны зарницы кружили над городом, как вороны над цыганской лошастью, и бросались на дровяные склады и библиотеки, опережая порой зажигательные бомбы. Это называется *самовозгоранием*.

За войну род зарниц разжирел.

Война многим служила хорошим прикормом».

Я полагаю, что умение отследить момент *самовозгорания* в привычной раскадровке происходящего есть свидетельство высшей школы вкуса. Опять же, преимущество иметь дело с ангелами, а не с пимезонами и психологическими зарисовками достается дорогой

ценой. Требуется сугубая точность ясновидения и абсолютный слух ясноописания. Назаров ставит себе такую сверхзадачу, и время от времени на страницах романа высвечиваются сполохи безупречных попаданий, которые сменяются затем щадящим режимом повествования. Воды небесные отражаются в земных реках, но не меняют скорости их течения; главное русло книги напоминает описанную автором ось *в три ангельских обхвата*:

«...по ней сверху вниз текло отработанное Время, сладкое, как патока».

Под воздействием встречных течений время расслаивается и сладость распределяется в соответствии со строгим критерием вкуса, оставляя место и отстраненным наблюдениям, и предвестиям и пророчествам:

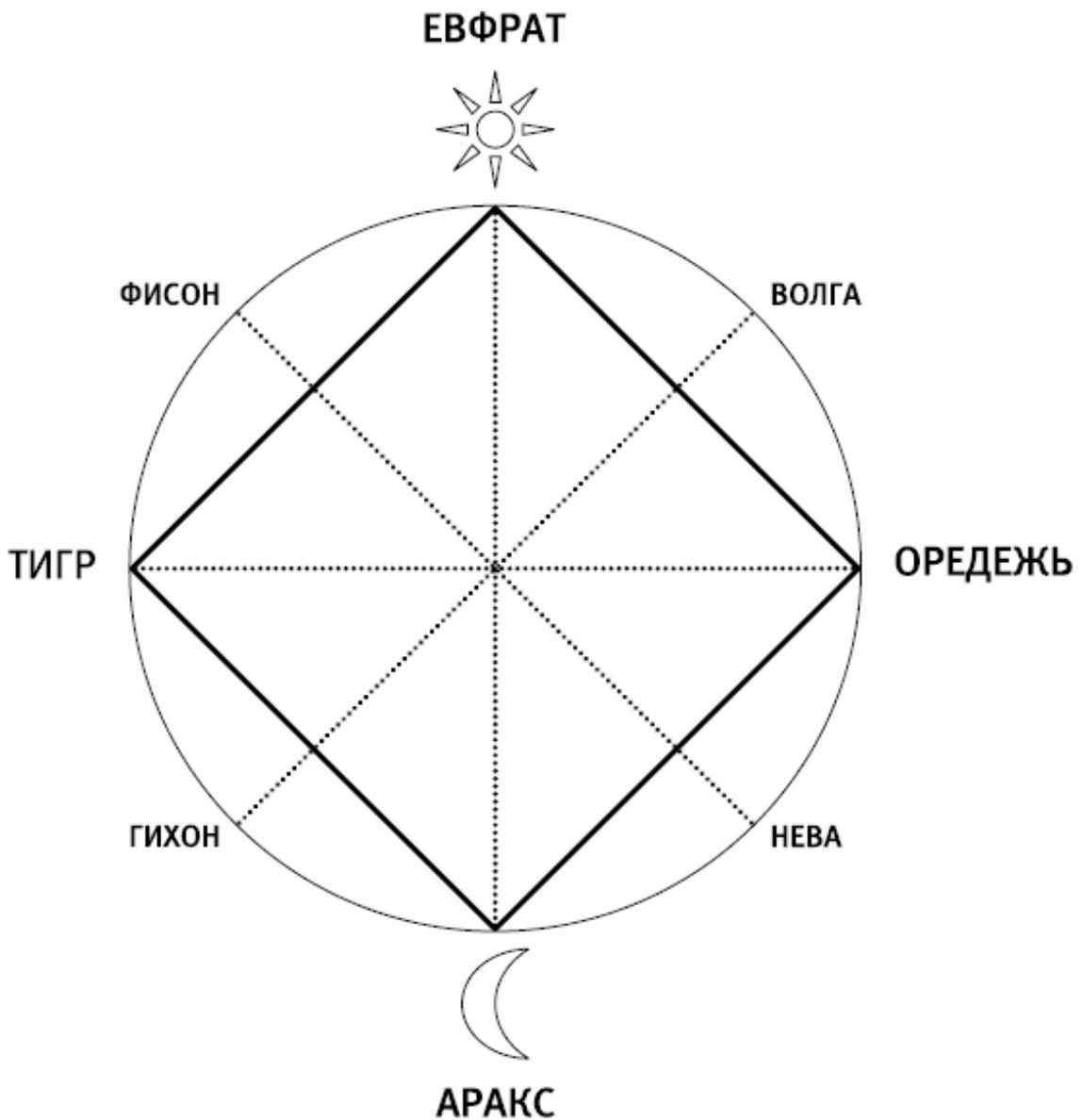
«Демографическим взрывом бесы сформировали армию, по числу превосходящую, наверное, весь Девятый чин. Теперь так мало *покойников*, одни *мертвецы*, которых готовят к решающей битве».

Ибо очевидно, что время Первых Дней творения в основном исполнено и никакие *массовые пополнения* в принципе невозможны. Ведущими к цели могут оказаться лишь индивидуальные траектории, порожденные собственными усилиями первопроходца. Роман «Круги на воде» свидетельствует, что усилия Вадима Назарова должны увенчаться успехом.

Александр Секацкий

Вадим Назаров КРУГИ НА ВОДЕ

*Свою кровь я спрячу в реке,
из кожи нарежу листьев,
погремушек для ветра,
смешаю в карьере тело
с родной ему юрской глиной,
и останется то, что есть –
бесцветное пламя,
его не увидишь, не спрячешь.*



1. Подорожник

Первый раз я увидел Ангела в Кэмбридже.

Я остановился у витрины книжного магазина и рассматривал обложки словарей, когда в стекле ярко и отчетливо отразилась его фигура. Ангел стоял на куполе старой церкви и, как мне показалось, благословлял прохожих.

Вороны поднялись с креста, захлопали крыльями, загалдели азартно. Оглянувшись, я увидел еще одного человека, который смотрел в небеса.

Вечерело, пришла пора подумать о ночлеге, а гостиница, где я остановился, находилась в Лондоне. Я поднял с земли осколок камня, положил в карман и отправился на станцию.

Я не люблю путешествовать. Новые реки и города кажутся мне сомнительным призом за тяготы бродячей жизни. У меня фобия метро, которая заставила вспомнить о себе в тоннеле под Ла-Маншем, и внезапно возникающее чувство пустоты под ногами. Это словно идешь по стеклу над пропастью.

Зато я отлично вижу в темноте, без компаса чувствую Север и осваиваю искусство игры на губной гармошке, чем, собственно, и занялся в пустом купе.

У меня не было сомнений, что существо, отражение которого я разглядел в витрине *ABC Books*, было Ангелом. Я не заметил крыльев, не запомнил одежд, но увиденное мной не принадлежало миру и городу, пусть даже такому славному как этот, у моста через реку Кэм.

Однажды я видел волка на воле. Мне было тогда лет семь, и вышло мне разрешение одному сбегать в ближайший малинник за гречишным полем. Я никогда раньше не видел волков, но сразу понял, что из-под поваленного зимней бурей дерева на меня глядит не собака.

Когда сталкиваешься с порождением другого мира, сразу чувствуешь себя как бы прозрачным. Я видел волка и Ангела. Вряд ли я ошибаюсь.

Я наигрывал на гармошке, вплетал в свою простую песенку стук колес и хлопанье дверей. На душе у меня было легко и чисто, так бывает только пять минут в сезон, и я знал, что весенняя *пятиминутка* кончится раньше, чем тень облака достигнет мелового холма. Время можно измерять всем, что движется.

Как-то поздней осенью я провалился под лед. Все случилось внезапно. Только что сделал широкий шаг, переступая через корягу, и вдруг под ногами ничего не стало, а глаза наполнила мутная зеленая мгла. Я рванулся вверх – и стукнулся головой о твердь.

Я не испугался, словно кто-то сказал мне: *ничего страшного*. Я перевернулся на спину, поднял голову, и обнаружил, что между льдом и водой есть пространство. Я дышал и смотрел сквозь прозрачную корку на солнце. В лед вмерзли кленовые листья, с обратной стороны его поверхность была шершавой, как плацента. Над моим ртом висела сосулька, похожая на сучий сосок. На сосульке искрилась капля. Я знал, что когда она упадет мне в рот, все благополучно разрешится.

Кто-то беспокойный ставил на мне серию мистических опытов.

Ледяная минута была самой насыщенной из тех, что я успел прожить, пока не пробила *волчья*.

Помню, я стоял, выставив руки перед собой, и боялся пошевелиться. Волк смотрел мне в глаза, но я никак не мог поймать его взгляда. Меня заело, словно виниловую пластинку, глаза тикали на месте, и происшествие никак не могло окончиться.

Тогда-то я понял то, что теперь могу сформулировать: время стоит, то есть движется не только от Зимы к Весне, но и в обратную сторону.

За окном появились первые приметы большого города. По вагону шел индус в красивой фуражке – контролер. Человек с соборной площади в Кэмбридже тоже не был европейцем. Почему я не подошел к нему? Ведь именно он утвердил меня в мысли, что сегодняшнее событие не было видением, игрой теней на стекле. Человек этот не турист. Скорее всего, студент по обмену из какой-нибудь бывшей Британской колонии.

Местным жителям вряд ли придет в голову рассматривать вечернее небо. И дело, конечно, не в том, что они каждый день видят на куполах Ангелов и зрелище это им наскучило. Они не заметили бы Вестника, даже если бы наступили на его хитон. Люди изживают повседневное пространство до дыр, превращают его в пустоту, в дорогу с работы.

И я таков. Вряд ли в России Ангелов меньше, но чтобы увидеть одного из них, мне пришлось перебороть нелюбовь к путешествиям и отправиться в Кэмбридж.

Разумеется, я не знал, зачем туда еду, но разве я волен выбирать то, что определяет мой выбор? Например, погоду на завтра. Куда ветер – туда и пепел: вот и вся моя свобода передвижения.

Обычно я путешествую один, всякие спутники скучны, предсказуемы и самодовольны, им нечего мне сказать. Но тот, кто смотрел в небо, наверняка мог бы поведать много интересного. Возможно, даже спел бы унылую пакистанскую песню о неразделенной любви. Он бы спел, а я бы подыграл.

Машинист объявил, что мы прибыли. Столица Британской империи была заспана и тиха, как отель. Мне же спать теперь не хотелось, я отправился в кафе Подорожник, где всегда есть свободные столики.

Я пил свой вечерний чай, который, в отличие от утреннего, был не столь крепок, сколь ароматен, рассматривал гербарии на стенах заведения, думал об Ангеле и о том, как я жил в утробе матери.

Иногда в знойный день у моря меня охватывает ощущение нездешнего покоя, уюта и защищенности. Возможно, это воспоминание о теплых утробных водах, где я провел свои лучшие дни.

У меня такие широкие плечи, мама. Как же ты мной разродилась?

Воде я посвящаю первую часть жизни, вторую – отдам земле.

Кто не помнит того блаженства, с которым погружал в детстве руки по локоть в жидкую грязь? Кто, торжествуя, не проваливался по колено в теплую глину на дне карьера?

Говорят, так новая душа празднует свое пробуждение, обращаясь к земному праху. Детям нельзя запрещать пачкаться, это может притупить их осязание.

Одна из самых ярких картин детства:

Я голый стою под сливной трубой янтарного комбината, из трубы течет юрская грязь. Синяя глина. Сначала она сочится медленно, но постепенно напор усиливается, меня сбивает с ног и несет в селевой волне. Глина забивает мне уши и рот, щиплет глаза, жирной скорлупой покрывает тело. Я кручусь в потоке, как уж в подойнике и, вместе с темной рекой падаю в море.

В приморской местности, где я провёл детство, принято считать, что Господь сотворил Адама именно из синей, а не из красной глины, а янтарь – это отделенный от тьмы Свет.

Эту гипотезу отчасти подтверждают и антропологи.

Какой-то рыжий бородач хотел было подсесть ко мне за столик. Я закрыл лицо руками, и тот отстал, отправился к стойке болтать с буфетчицей. В дальнем углу лысый мужчина, похожий на фигу, обнимался с темнокожей девицей, похожей на его тень. Я продолжал свои праздные размышления.

Огонь, то есть свет и тепло – вот основа, главная ценность от юности до смерти. Мера живого тепла, что мужчина отдаёт женщине в уплату за *любовь* – самая популярная сделка со времён Великого оледенения.

Тепло пробуждает птенца в яйце, под ним зерно в земле пускает ростки.

Свет – это все, что есть на свете. Мир без света – мрак над пропастью. Все, что нас окружает, – отраженный от предметов свет. Своего рода иллюзия. Никто на самом деле не знает, каков истинный цвет яблока, какова форма камня.

Когда я еще не понимал, кто я, мне случалось видеть странные сны. Будто вхожу в комнату, заставленную какими-то кубами, подхожу к окну и вижу растения, каких не бывает. Части этих растений сложены так, что в них ясно читается бесстыдный призыв. Растения повелительно зовут меня. А находящиеся в комнате предметы столь же требовательно прогоняют. Я хочу выйти вон и натыкаюсь на прозрачную преграду, от одного прикосновения к которой все тело пронзают ужас и боль.

Позднее, наяву, я видел изображения, отдаленно напоминавшие лилии из сна. Книга, где я их нашёл, называлась *Летний луг глазами майского жука*.

Шумная компания взорвала тишину кафе, и о четвертой стихии я вспомнил уже на улице, где вибрировал неон и смуглые мусорщики в оранжевых жилетах набивали черными мешками брюхо грузовика, походившего на жужелицу.

Ветер – думал я – ветер был до жизни и будет после нее. Дух над водой и Небесный Иерусалим, легкий трепет новорожденной души и воздушные мытарства.

Ветер заполняет собой пустоту между сферами и холмами, превращая ее в пространство.

У ветра много имен и тональностей, разные направления и сила, но все ветра обоих миров – суть один *мировой ветер*, который каждое мгновение связывает собой всех нас: живущих и ожидающих, видимых и невидимых, одушевленных и лишенных души.

Я шел в гостиницу пешком, неторопливо пересекая огромный город с Севера на Юг, и поглаживал в кармане камень. Стекло под моими ногами пару раз предательски хрустнуло, но я успокоил себя мыслью, что у меня достаточно денег, чтобы в любую минуту поймать кэб.

2. Имя Клёна

Ангел девятого чина Руахил, что значит *благодатный ветер*, служил на Корабельном поле. Строго говоря, дикому полю, перелеску или маленькой реке не положен отдельный Ангел, но когда-то на Корабельном поле был поставлен закладной крест.

Петр Симонов, известный физик, получил поле и сосновый лес за ним в качестве уплаты по вексям. Петр Платонович собирался устроить здесь дом и образцовую ферму на английский манер, но все дело ограничилось приездом землемера и благодарственным молебном с установкой деревянного креста на месте будущей церкви.

За восемьдесят с небольшим лет, прошедших с того молебна, из проросшего, не без помощи Ангела, креста вырос Клен. Руахил не знал, можно ли считать это исполнением обета, но каждое утро молился у дерева, которое в каком-то смысле и являлось домо-вой церковью Симоновых.

Стараниями Ангела чужие люди Корабельное поле не пахали, на нем не сеяли просо и не косили траву.

Едва заметная тропка вилась среди кочек и замшелых камней, отмечая кратчайшее расстояние от брода на реке Оредежь до одноименной станции.

На заливном краю поля жили жадные чибисы, на высоком – жаворонки и полевые мыши. Иволга плела гнездо в речном ивняке, и рябиновый дрозд не на шутку бился с воронами, защищая свое воздушное пространство.

Руахил слышал, как прорастают травы, ворочается птенец в яйце, как земные соки поднимаются по жилам Клена до самых высот. Иногда Ангел беседовал с деревом. Это был странный разговор древнейших земных существ, чей вечный спор о первородстве состоял из одного только слова, которое они повторяли попеременно на разные лады: Ангел – на выдохе, Клен – на вдохе.

У Клена, как и у Ангела, было имя. Каждую осень, когда созревали семена, он вспоминал его, а едва начиналась зима – забывал.

За годы службы Ангел выучил человеческие имена трав и деревьев и зачастую пользовался ими, чтобы лишний раз не тревожить словами *Третьего дня* короткую память растений, которая есть особый фермент, содержащийся в семенах.

Ангела занимала неподвижность деревьев и, с другой стороны, их готовность повиноваться ветру. Руахил решил, что растения созданы Господом, чтобы отмечать пути ветра, подобно тому как реки созданы, чтобы видеть пути воды.

Мир сотворен в шесть дней не для одних лишь Ангелов, и никому не осознать совершенства, которым он преисполнен. Так, Руахил понимал, что никогда не сможет достичь той полноты осязания, на которую способен Клен, не разглядит, подобно шмелю, среди множества печальных пустоцветов бутон радостный, плодоносный.

То, что виделось Ангелу сплетением ароматов и лучей, изящным вензелем Творца, подписью на творении, – служило пищей для иволги. И напротив, грубые краски и резкие запахи, делавшие некоторые предметы отвратительными для Ангела, у пчел или полевок были чуть ли не идолами.

Но все эти наблюдения относились только к Земле. Небо Господь сотворил для невидимых. Каждое утро Руахил с восторгом и ужасом смотрел в небеса, где разворачивалась могучая мистерия света, божественная драма, в которой оживала вся Священная история – от Бытия до Откровения.

Помимо птиц и деревьев Руахил иногда встречал в поле подобных себе. Ангелы, заметив его, по чину раскланивались, враги – стремительно исчезали. Ведь Руахил был Храни-

телем, и в правой его руке мог в любую минуту возникнуть меч, на широком лезвии которого огненными буквами грозно сверкала молитва с Именем Господним.

Меч, возможно, самое известное из Ангельских изобретений.

Зарницы и бесы не интересовали Ангела. Это племя было самым младшим на свете и не застало Землю молодой, когда на каждом стволе или камне еще сохранились отпечатки рук Создателя, и эхо сотрясало ветер, ритмично запуская в него тихие, но внятные отголоски слов, из которых был составлен Белый Свет – иллюстрированный лексикон Творца.

У врагов не было памяти, они не знали, зачем живут.

Можно жить в небесах и ничего не понимать, потому что, пребывая внутри постоянно дпящегося чуда, забываешь восхищаться им. Привыкаешь и начинаешь говорить о небе и о себе, как о погоде и здоровье. В горних такое происходит не реже, чем на земле, но внизу *не помнить* – гораздо легче.

На земле вообще жить легко, особенно деревьям. Жизнь их проста и праведна, и даже если дерево кого-то убивает, виной тому буря.

Господь не судит деревья. Когда в липу вонзается молния, она нацелена в того, кто укрылся в дупле. И когда ветер стелет траву по земле, он знает, что трава распрямится.

Руахил смотрел из-под руки на самолет, издали похожий на ласточку, а при ближайшем рассмотрении напоминающий синего кита. На носу сидел Смоил, *Покровитель странствующих*, он печально махнул Руахилу крылом. Руахил понял жест и закрыл лицо ладонями.

Над Корабельным полем качалось серебристое облако.

Когда на Оредежи построили плотину, в верхнем течении реки стало меньше ласточек. Вода подмыла берега, затопила ласточкины норы в красных береговых откосах.

В ночь, когда рыба шла вверх по реке на нерест, Руахил на несколько часов останавливал течение и поднимал заслонку плотины. Крутил скрипучее железное колесо, смазывая механизм молитвой. Стоя на красноватой, прозрачной стене воды, он смотрел, как синие тени рыб входят в неподвижную реку, словно зерна в пашню.

Ангел любил смотреть в воду. Однажды он спустился вниз по реке до самой Луги и дальше, до моря. Он сидел на песчаной дюне и смотрел, как зеленые волны лижут берег. Он помнил море не зеленым, а теплым и золотистым, когда в море, как хмель в пиве, бродила жизнь, и волны то и дело выбрасывали на берег диковинных гадов, которые тут же расплзались по окрестным пескам.

В море водились твари, которых забыл Господь. Они возникли не по глаголам его, а как бы по звукам, происходящим при вдохе. Это были случайные брызги на холсте Творения, и большая часть этих мелких изъянов была стерта Всемирным потопом. Но те, что обитали в глубинах, просто ушли на дно, и камни служили им пищей.

С тех пор из его реки утекло много воды, прошло много времени.

Ангел представлял себе время, как дерево с горячей кроной. И сгорает оно быстрее, чем растет.

Но это лишь видимая часть. У этого дерева горит не только крона, но и корни. Там, в мрачных глубинах, где реки текут от устья к истокам, а пепел на папиросах курильщиков превращается в табак, скачут из будущего в прошлое четыре бледных всадника, и пыль всасывается в подковы их коней.

Руахил думал, что Господь застыл в благословляющем жесте и мир поместился между его ладоней, как буква «о» в слове «Бог», но однажды руки опустятся, и случится Большой Хлопок.

Конец Света является частью Замысла, и обратный отсчет начался в первые минуты Творения, когда произошел Конец Тьмы.

Ночью на Корабельном поле пел соловей и трещали цикады. Ангел сидел под Кленом и подпевал. Он то передразнивал арабески птицы, то уходил в фоновые переливы насекомых,

то решался на соло. Тогда поле затихало, и только синие колокольчики мягко позванивали в такт его горным распевам.

Пение служило Ангелу тем же, чем человеку речь – средством общения. Руахил умел говорить на трех языках, принятых в Церкви, и еще на русском, но пользовался ими только применительно к травам. В человеческой речи для Ангела слишком мало глаголов. На небесах не называют предметы, там описывают их сложные движения и взаимодействия. Руахил знал триста глаголов, характеризующих ветер. Вообще-то и сам ветер не являлся для него существительным.

Даже человеческое ухо слышит в этом слове: *вертеть, веять, петь*.

Поиски точного слова – не праздное занятие для Ангелов. Их слова материальны, и поговорка «сказано-сделано» – вульгарный перевод с Ангельского.

Как-то раз Руахил одним словом запретил тем, кто ростом выше травы, ходить на Корабельное поле. Козы, собаки, лисы получали щелчок и поворачивали прочь. Но когда дети дачников со своими корзиночками и удочками стали биться о прозрачную сферу, словно чжи о стекло, Ангел поймал слово в воздухе и съел его. Слово было на вкус как щавель.

Руахил был существом в основном невидимым и в этом своем состоянии походил на порыв теплого ветра, на отсвет солнечного луча. Для полетов ему нет нужды в крыльях. Крылья – это традиция, канон, которому следуют Ангелы на глазах посторонних.

Ангел Корабельного поля делался видимым в минуты глубокой задумчивости или печали.

Руахил не построил себе дома, как человек, и не свил гнезда, как птица. Ночью он привязывал себя за пояс шелковой ниткой к ветке и парил над деревом-церковью, словно золотой шар.

А когда он смотрел на ночное небо с земли, сквозь крону Клена, ему казалось, что звезды висят на ветках, как яблоки в Едеме. Ангел даже слышал их запретный запах.

Ангелы видят гораздо больше звезд, чем люди, и, по их представлению, они иначе сгруппированы на поверхности неподвижных сфер. В небесах Ангелы видели не языческих богов и животных, но вселенскую Азбуку, которую Господь записал на тверди в четвертый день Творения, уже после того, как создал дерево.

Ангел девятого чина Руахил стоял над полем, которое называют Корабельным, как туман над рекой. Ветер качал колосья мышинного ячменя, и они касались усиками сандалий Ангела, теребил его белый хитон, трепал каштановые волосы, гудел в синих, с серым отливом, маховых перьях. Ангел стоял, опустив голову, и рассматривал гнездо жаворонка, спрятанное в коленях травы. В гнезде лежали три крапчатых яичка, жаворонок тревожно порхал поблизости.

Ангел улыбнулся, поднял руки, и жаворонок послушно уселся ему на ладонь. Ангел поднес птицу к лицу, осторожно развернул крылышко и стал рассматривать, как оно устроено.

На поле набежала тень облака. Ангел посмотрел вверх, легко подбросил жаворонка, и тот взвился так высоко, что даже Ангел на мгновение потерял его из виду.

Вдали, за прохладным хвойным лесом, загудела электричка. Ангел прищурился, словно вспомнил что-то важное, расправил огромные крылья, которые стали теперь почти прозрачными, не делая взмаха, поднялся над полем и по спирали ушел в зенит, туда, где звенела узорчатая песенка жаворонка.

3. Физик и зверолов

Река Фисон обтекает землю Хавила, где оникс, золото и горный хрусталь.

Река Гихон уходит в землю Куш.

Река Хиддекель следует в пустынные земли, терается там, в богатых рыбой и лотосом зарослях тростника.

Река Аракс проваливается в Преисподнюю.

Река Евфрат течет по Небесам.

Я лежу на спине и смотрю, как рыбы парят в ее вязких сиреневых водах.

Рыб называют звездами, хотя похожи они совсем на другие знаки.

Я лежу посредине русского поля, в поле – ночь, в ночи бормочет Оредежь. В деревне за лесом брешут собаки, и тяжелые люпины у меня в головах занимают с ветром любовью. Колос тимopheевки согнулся от аварийной посадки майского жука. Я никому не мешаю, лежу тихо. Никто не станет искать меня здесь, тем более что это не единственное место на свете, откуда видны небеса.

Мои старые родственники почти все уже умерли, а молодые спят.

Ветер нагоняет с Балтийского моря мелкие облачка, они затягивают реку Евфрат, словно ряска.

Я замерз и запутался в травах. Кажется, я лежу тут с прошлого века.

Дед по матери научил меня неподвижно лежать часами. Дед был сильный зверолов перед Господом. Его крепкий бревенчатый дом был украшен перьями стерха, рогом изюбря и простреленной в двух местах шкурой медведя. Из детства мне особенно памятны его охотничьи амулеты: волчьи зубы и зелёные самоцветные камни, похожие на глаза.

Когда бы я не увидел небесную реку, жизнь моя могла бы сложиться иначе. Только вообрази себе: дед всю жизнь истреблял зверье, а внук его – зверь.

Я пытаюсь согреться на холодной земле, воображаю:

Косуля подбежала к берегу и, не раздумывая, бросилась в реку. Загонщики не последовали за ней, они двинулись вниз по течению, к броду. Едва не завязнув в топком иле, косуля выбралась на песчаную косу. Она пахла страхом и молоком, бока бились о ребра, как крылья. Косуля тревожно оглядывалась, но погони не было слышно.

Я лежал, уткнувшись носом в замшелый камень у самой воды, старался не дышать, не думать. Наверное, со стороны я выглядел как сын камня, который прижался к отцу и спит.

Я ждал, когда жертва сделает три шага к берегу, чтобы взять ее одним прыжком, но не выдержал и дал ей сделать только один.

Тупая боль от удара копытом в живот и острый вкус свежей крови. Мы перевернулись, сжимая друг друга в объятиях, покатались по косе. Она страстно выгнулась, закатила глаза и кончилась.

Я перегрыз ей артерию и пустил кровь по воде, чтобы стая почувствовала вкус добычи еще у брода.

Зверем быть не стыдно. Каждая тварь причастна к Священной истории, был конь, которого сотворил Господь, а назвал Адам, был волк, которого призвал на Ковчег Ной, был голубь Иафета и ворон Хама.

Над полем полыхнули зарницы. Говорят, это тени существ, обитающих в пламени. Должно быть, на брошенной ферме загорелась гнилая солома.

Во время войны зарницы кружили над городом, как вороны над цыганской лошастью, и бросались на дровяные склады и библиотеки, опережая порой зажигательные бомбы. Это называется *самовозгоранием*.

За войну род зарниц разжирел.

Война многим служила хорошим прикормом.

Мой дед, например, покупал у мародеров серебро, расплачивался проросшим зерном и вяленным мясом. Серебро хранилось в бане под полом. В семье до сих пор запрещено говорить об этом с посторонними.

Как-то раз дед заперся в бане и шесть дней сидел там на одной воде. А когда на седьмой – вышел, в руках у него был неизвестный науке прибор. В основании прибора располагался ящик, наполненный серебряным ломом, к ящику крепилась проволочная рама, на которой, в свою очередь, была натянута тонкая шелковая сеть.

Это была *ловушка* для Ангелов.

Яков Фомич Шальнов, мой дед по материнской линии, считал, что на всех нас лежит проклятие – не исполненная каким-то не очень далеким предком епитимья. Нашего дома сторонятся Ангелы. Оттого-то никто из мужчин нашей фамилии давно уже не умирал своей смертью. Женщинам же не удавалось сохранить ясность рассудка.

Сто пятьдесят лет Шальновы-мужчины гибнут в войнах, на охоте, в авариях, а женщины сходят с ума, ожидая похоронок и срочных телеграмм.

Некому отвести от сердца свинцовую пулю, повернуть эбонитовый руль. И никто не нашепчет вдове утешительную молитву, не распишет ее окна ледянками-елочками на Рождество.

Когда в доме нет Ангелов – там тоскливо и сыро, и простые, как яблоки, материнские просьбы не долетают до Бога, разбиваются об облака.

Никто не знает, в чем именно состояла епитимья, но, судя по наказанию, была наложена за убийство. Предок был, видимо, человек веселый и беспечный, и нож, который он воткнул в брюхо собутыльнику в придорожном трактире под Ельцом, подрезал наш род до седьмого колена.

Единственным шансом на спасение семьи, по размышлению деда, могла стать поимка Ангела. Привлеченный блеском серебра, Ангел должен был запутаться в сети.

Начищенный золой белый металл полыхал прозрачным огнем, как вода на ветру. Дед поставил ловушку под цветущей яблоней и отправился было колоть дрова, но вдруг упал, разбитый ударом.

Я только таким, парализованным, его и застал. Жалкий, вонючий, с усохшей ногой и почерневшим лицом, он лежал в белой горнице, в красном углу. Когда я подошел ближе, дед заплакал.

Господь не послал старику Ангела. Он дал ему то, чего дед не умел попросить – непостыдную и мирную смерть.

В устройстве же ловушки было рациональное зерно. Разумеется, Ангела нельзя поймать в сети. Некоторые из них проходят сквозь солнце, не попавив пера, но любопытство их безмерно. И ящик с небесным пламенем под белым деревом вполне может служить приманкой.

В *Omni* как-то писали, что ирландские натуралисты обнаружили Ангела в подземных муравьиных садах. И занимался он там, кстати, примерно тем же – изучал замысел Творца. Правда, для этого ему не пришлось разорять муравейник.

Усилия науки, агрессивно познающей мир, смешат меня. Создатель Вселенной обдумывал свой план на протяжении Вечности, чтобы сотворить в семь дней.

Не было ни пространства, ни времени, лишь тьма над бездной и дух над водой. И тьма эта не рассеялась, пока не была найдена форма каждого пятна на пере ястреба, каждой прожилки на листе герани.

У любопытствующих слишком мало времени, чтобы самостоятельно понять, как устроена божественная игрушка, и слишком низменные цели, чтобы рассчитывать в этом занятии на помощь свыше. Будильник не поймет часовщика, даже если объяснит некоторые

движения своего механизма последовательным вращением шестеренок и осей, на которых, как известно, и держится Мир.

Я открыл глаза, провел по лицу ладонью. Откуда я взялся здесь? Ночью, один, посредине поля, на дне холодной реки Евфрат.

Я закрыл глаза и стал вспоминать.

Так: я сел в самолет в Хитроу и полетел домой, потому что у меня кончилась виза, и еще потому, что накануне мне звонила Марина, ей срочно нужно было со мной повидаться. В дороге я разговаривал с оробевшей от перелета студенткой, пил воду без газа, зачем-то отказался от обеда, спал.

Я даже помню, что мне снилось – тихий прозрачный лес, золотистый свет, начинается осень. В лесу нет ни души, только тихое движение в травах.

Воспоминания о сне становятся первыми кадрами нового сна или старой яви: лес быстро редел, за ним началось желтое овсяное поле, за полем – дорога, овраг. На высоком берегу оврага старый дом красного кирпича, в котором я жил с мамой осенью семидесятого года. Дорога спускалась в овраг, к тракторному кладбищу и мастерским. Весной и осенью трактора месили на ней липкую грязь, вязли, утопая по втулки. Летом грязь превращалась в пыль. Пыль закручивалась на ветру в невесомые спирали, разбрызгивалась, как вода, под ногами пешехода или под колесами грузовика. В жаркий день на дороге можно было найти место, где пыли выше колена.

На дорогу можно было прыгнуть и кувырнуться, нырять, ударяясь о камни и гайки на дне. Можно было кидать на дорогу комья глины, что оставляли в пыли воронки, как бомбы, или кратеры, как болиды, – смотря во что играешь. На вкус пыль была солоноватой, на цвет не отличалась от морского песка.

Она была словно горячая кожа, наши прикосновения были почти греховны и задевали во мне что-то нежное. Я многим обязан этому праху, а чем расплатиться – не знаю.

Возьми тело мое, мать-земля.

Отец-ветер, свей из меня спираль.

Род Шальновых от вымирания спас не Ангел-невольник, а мой отец. Брак моей матери с младшим сыном известного физика Петра Платоновича Симонова поправил дела семьи. Отец в те годы был человеком добрым и энергичным. Кроме того, по меркам времени, о котором речь, он был просто богач.

Отец перестроил шальновский дом, превратив его в дачу, рога и шкуры велел убрать в кладовку, а на освободившихся гвоздях развесил картины своих друзей – безродных космополитов.

Деда-физика я не помню, мы разминулись с ним на тридцать пять лет. Семейное предание гласило, что именно мне, первенцу своего младшего сына, он завещал кое-какие бумаги, вроде бы даже купчую на землю, но завещание вместе с архивом, коллекцией французских гравюр, рукописным Уставом Калязинского монастыря и другими семейными ценностями то ли сожрал пожар, то ли закатил куда-то один из переездов.

Не исключено, что именно симоновское серебро надраивал в бане Яков Фомич. Знал бы зверолов, с кем породнится его дочь-дурнушка, был бы с ней поласковее.

Отец помог моим теткам найти работу на какой-то новой фабрике, где шили форму для летчиков. Как говорила мама: если бы они не повыскакивали замуж, он бы на всех сразу женился. Жизнь налаживалась, и даже когда мы на три года уехали в другой город, ничего страшного за время нашего отсутствия не случилось. Разве что мой дядя врезался в грузовик на мотоцикле, но не погиб. Даже не стал инвалидом.

Сестры Шальновы поняли: старое проклятие дает отсрочку. Так мы и жили потом много лет в перемирии с судьбой.

Помню только, отец однажды сказал:

Часа рождения человек не помнит, а часа смертного – не знает. Живет, как камень с горы падает. Сомкнешь глаза – а в ушах шум ветра, закроешь и глаза и уши – кожей чувствуешь опасные стенки пропасти.

Дело было, кажется, в Лосево. Мы стояли на мосту и смотрели, как вода, изгибаясь, катится на пороги.

Я удивился. Отец, оказывается, как и все мужчины в семье, боялся внезапной смерти. Меж тем его Ангел хранил нас всех.

У меня странные отношения с родителями. Я люблю тех людей, с которыми прошло мое детство, но эти жадные брюзжащие старики ничуть не похожи на них. От тех, прежних, не осталось ничего, даже одежды. Те были великаны, небожители, умеющие поймать чижа и отогнать палкой грозное облако от речного пляжа. А эти верят в прогноз погоды и *неблагоприятные дни*, экономят на электричестве, вместо *Благодать* говорят *энергия*.

История наших отношений называется *Гибель Богов*.

Или это сравнение с камнем. Я не понимаю, почему человек, столько претерпевший, чтобы правильно сложить свою жизнь, боится смерти. Ведь только там, за горизонтом, его усилиям дадут настоящую цену.

Смерть, конечно, не развлечение, но, по крайней мере, после нее нет никакого времени.

Случалось ли тебе обманывать время?

Однажды я ехал на поезде к морю. Билеты тогда были дешевы, а гонорары велики. Я купил всё купе. Четыре полки. Поезд шел окольными путями, и я, сам того не желая, оказался в знакомых краях. Я сидел спиной к окну и смотрел, как в зеркале, что на двери купе, неторопливо меняя друг друга, проплывают отражения знакомых предметов: старый мост, развалины мельницы, пакгауз, водонапорная башня, похожее на верблюда облако, белокожий тополь, деревянная школа...

Когда проехали, я вспомнил, что тополь еще тогда спилили, облако улетело, мост снесло ледоходом, пакгауз сгорел и так далее.

Так, при помощи зеркала, я, словно Персей, обманул Медузу, что пожирает мир.

Но зеркала – порождение всё той же Медузы. Я не люблю зеркал. Меня оскорбляет, что я занимаю в мире так мало места. Отчетливо помню, как первый раз в жизни увидел себя в ртутном стекле. Я ничего не понимал. Мне казалось, что вся эта комната, тихая музыка, полоса света на полу и окно во двор – это и есть я. Я – это всё, что вмещается в зрение и слух. Но, оказывается, я – это что-то отдельное, мутное и ничтожное, а кто-то другой – огромен, прекрасен, велик и пренебрегает мной.

Я зарыдал. Мама дала мне засахарившегося петушка на палочке. Она никогда не умела ни понять, ни утешить меня.

Всяким слезам есть причина. Я так мал, мама. А знаешь ли ты, насколько велик мир?

Что с того, что ты дома, в своей комнате? Мама, только вообрази себе:

Под тобой шесть тысяч километров глины, гальки, песка, базальта, слой за слоем, а потом мантия, распаленная магма ядра, а дальше – еще шесть тысяч, в обратном порядке.

И это еще не все. Над головой у тебя – не потолок и даже не небеса. Бесконечная пустота космоса.

Иногда я вижу себя, к примеру, не на улице Пестеля, а в реальном пространстве. В такие-то мгновения подо мной и хрустит, как стекло, земля.

В поле сладко запахло клевером. Мои сестры по солнцу, воздуху и воде – ласточка, иволга и синица – начали первыми. Постепенно к Корабельной оратории подключались и другие инструменты.

Я тоже открыл глаза и в такт им дышал.

Прошло некоторое время, и я смог, наконец, подняться. Над лесом совершалась заря. Я собрал с листьев росу, умылся. Потом перекрестился на Восток и побрел к лесу.

Я видел, как ворона крадет яйцо из гнезда чибиса, как купается в утреннем ветре липа. Вершины синих небесных холмов наливались розовым цветом. Я был на холме земном. Передо мной стоял русский пейзаж, в котором нет места человеку:

Голубое небо, изумрудные травы, неоскверненные мужчицкой косой, белый камень в ложбине и огромный ветвистый клен – там, откуда расходились лучи.

Я догадался, что случилось вчера. За спиной завыл осиротевший чибис. Я оглянулся и долго смотрел на медную реку.

И вдруг понял отчетливо и ясно, что не чужой здесь, потому что уже не вполне человек.

4. Небо над Мариной

Ангел Помаил, обычно поминаемый перед сном, стоял на капители Александровской колонны и смотрел, как ветер пытается повернуть вспять могучую северную реку.

В кафе на набережной сидела женщина и наблюдала за тем же. Ее желтые волосы лежали на плоскости ветра, как крылья в парении. В белой фаянсовой чашке дымился маленький двойной.

Чем крепче ветер, тем легче понять, насколько ты хрупок перед мышцей Господней – подумала женщина.

Ангел одобрительно улыбнулся.

Женщину звали Мариной, и имя это подходило не только сегодняшней штормовой погоде, но и удивительному свойству ее глаз, которые меняли цвет от бирюзы до индиго. Глаза плавали по ее лицу, яркие, как тропические рыбы.

Ветер сбивал волны в отары и гнал на альпийские пастбища Ладоги, но овцы не желали повиноваться и превращались в *барашки*.

Река разевала рот, крутила водовороты. Ветер бросал в них все, что попадалось под крыло: забытые на столе бумаги, солонку, перечницу, телефонные квитанции и маленькую белую чашку.

Марина встала из-за стола. Буфетчик развел руками. Ангел на колонне напевал колыбельную, он знал, что летом свет долог и обманчив, а детям давно пора спать.

Сон был основным занятием Марины. Ночью она пыталась справиться со своими сновидениями, днем – обучала этому других. Она работала на кафедре онейрологии в Институте мозга, обслуживала похожий на паука блестящий прибор, предназначенный для провокации *люсидентности*, управляемых снов. Марина называла своего паука *взломщик*. При определенном навыке оператора серебряный жук раскалывал скорлупу сновидения, не касаясь его нежной сердцевины. Спящий в этот момент осознавал, что он всего лишь спит и ему все позволено. *Можно все*.

Марине было знакомо это раскручивающееся винтом от низа живота к горлу ощущение. Первый раз в управляемом сне она стала скифским оленем и скакала, скакала, пока не уткнулась золотыми рогами в облако.

Она могла бы превратить облако в камень или в плодовое дерево. Марине пришло в голову его съесть.

Она не пыталась толковать свои потусторонние приключения, как не стала бы искать иного смысла в прогулке в ветреный день вдоль реки или во внезапном звонке подружки. Память уравнивала сон и явь. То, к чему можно возвратиться в воспоминаниях, – это и есть твоя жизнь. Атлас личности. И не имеет значения, в каком физиологическом состоянии происходило то или иное событие твоей биографии.

Но, с другой стороны, убийство, совершенное во сне, – это всего лишь дурные помыслы или само убийство? Иными словами, смертный ли это грех?

Марина не хотела думать о том, что переживает во сне очередной пациент, когда царапает простыни, скалится и закатывает глаза. Но тот, кто ложился под *взломщика*, был обязан подробно описывать свои метаморфозы.

Марина записывала эти рассказы на диктофон и потом расшифровывала запись, не без некоторых литературных излишеств переносила рассказанное в журнал. За время клинических испытаний прибора таких книг накопился целый шкаф. Иногда Марина открывала какую-нибудь наугад и читала:

Тюрькин Р. Б., 40 лет, анамнез прилагается. Люсидентия – удачно со второго сеанса. Пациент ощутил во сне постороннее присутствие. Оглянулся, увидел свою мать в красном

платье с синими цветами, которое пропало при пожаре на даче, и понял, что находится внутри сна.

Он подошел к матери, обнял ее и тут увидел, что прямо на них несется огромный двухэтажный автобус. Тот самый, который уже много лет преследовал пациента во сне, привычный кошмар.

Каким-то образом он сделал из матери самолетик и пустил его в сторону, а сам камнем ударился в лобовое стекло автобуса, голова водителя от осколков лопнула, как воздушный шарик.

Пациент понял, что проблема разрешилась, автобус больше не появится.

Марине становилось противно читать, она курила, смотрела в окно, мечтала, что сменит работу.

За окном ветер носил по улице академика Павлова пух Мирowego тополя. В просветах между деревьями блестела река. Марине захотелось превратить ее в лагуну при коралловом острове. Она привычно щелкнула пальцами и осеклась.

Река текла наяву. Марина ошиблась.

Она вышла в прохладный сумрачный коридор. Желтые контрфорсы света поддерживали пыльные окна, делили на сектора пол. В ординаторской хрипел телевизор, аспиранты смотрели *CNN* без перевода.

Американцы – подумала Марина – и из Конца Света устроили бы информационное шоу. Могу представить себе:

Добрый вечер, Леди и Джентльмены, с вами Боб Кравиц, наши камеры установлены на месте, называемом Армагеддон, и сейчас мы ожидаем появление Вавилонской блудницы.

С такими мыслями лезть под землю не хотелось, и Марина пошла пешком. Она жила на Васильевском, дорога вела через два-три острова. Во время подобной прогулки слова сами укладываются в эпическую поэму о долгом возвращении домой.

Скоро вернется, думала Марина, из своих странствий и мой Одиссей. Мы поедем в парк, возьмем напрокат лодочку, отправимся искать водяной цвет для приворотного зелья, и я расскажу ему про деда.

Она стояла на мосту в устье Карповки, смотрела, как мальки долбят хлебную корку. За спиной ухали машины, перед лицом – скользили по Невке похожие на копья байдарки и косолапые каноэ. Краснощекие девки-покахонтас ритмично вскрикивали при каждом гребке. В их отношениях с рекой угадывались отголоски какого-то древнего ритуала.

Очищение реки, осквернённой веслом. Зачатие русалки.

Деревья на Каменном острове исправно кланялись вслед пролетевшему барину, ветру. Женщина шла вдоль реки, придерживая легкую юбку руками, и головы не клонила, как барыня.

Следующий день Марина провела в архиве. Как-то поздно вечером позвонила подруга и затараторила:

Привет, ты слышала, всем русским из-за войны не продлили визы. Так что на этой неделе будут подарки из Лондона. Дай знать, когда он сообщит точный день. Да, кстати, чего я звоню, мне сказали, что в архиве, в *Синоде*, нашли дневники вашего деда.

Марина Симонова не без удивления обнаружила, что сам вид мелко исписанной дедовским пером бумаги не вызывает у нее душевного трепета. Впрочем, она была вынуждена признать, что Петр Платонович оставил честные записки и для постороннего чтения они не предназначались. Физические формулы и комментарии к ним чередовались со впечатлениями дня, записанными сновидениями, воспоминаниями о детстве в Тверской губернии. Марина даже обнаружила донжуанский список в девятнадцать имен.

Марина не любила кино. Сны – это часть жизни и доля вины, а отдаленно похожее на них кино – плод чужого воображения. Мало ли что может вообразить *чужой*.

Сочувствуя тени на экране, следуя по хитрой воле режиссера за ее превращениями в машины, дома, людей – человек становится созерцателем семи смертных грехов. Через танец теней добродетель получает опыт порока.

Новый фильм про убийц тридцать лет подряд каждую субботу, и однажды, после сорокадневного перерыва, ты обнаруживаешь себя упаковщиком энергетического напитка, DJ в эфире *Радио Тартар* или просто рабом, прикованным к тачке на серных рудниках в Марианской впадине.

Жизнь – это то, что ты помнишь, – думала Марина, – и придется отвечать, если не забыл, как Винсент застрелил негритенка.

Солнце выстелило улицы теплыми лучами, раздвинуло дома, освободив место для прогулок сентиментальных горожан. По золотой вечерней реке плавали лодочки. Бездетный мороженщик не спешил домой, вокруг его тележки кормились кошки. Сонный голубь едва не упал с ветки липы на голову матроса. Его девушка замахала руками. Матрос коснулся губами девичьего уха, что-то сказал. Девица ответила долгим и влажным взглядом. У Марины побежали по коже мурашки от случайного прикосновения к чужой страсти, когда она проходила мимо парочки в парадную.

Марина шептала:

Даже если я увижу вечерний город во сне, сон мой в зеркале его рек не отразится. Сон – мой, и он не имеет отношения к их жизни. Скорее уж это ежедневная смерть, то есть личное дело.

Она не стала ужинать, только чай, чистое белье, холодный душ. Марина долго расчесывала волосы, потом коротко помолилась. Она готовилась в путешествие и не была уверена в том, что Господь отпустил ей билет.

Марина была перед Богом, как пилот без лицензии перед белой башней аэропорта.

На улице продолжался вечер. Марина открыла окно. В комнату летели насекомые. Она знала, что у недолюбленных женщин кровь становится горькой и кровососущие не будут тревожить ее.

Пусть ищут себе другую – Марина начала *сонный заговор*:

– слаще, красивее, моложе. Пусть ей приснится июльский луг, молоко в кувшине и горячая крапива у торфяного ручья. Небо звенит от зноя, листья касаются кожи там, где вне сна ее протыкают хоботки насекомых.

Марина продолжает:

Душа моя не в теле, но в руке Господа, дрожит, как голубка на ярмарке, и с телом ее связывает тонкая нить. Душа шепчет о том, что видит сквозь синие пальцы Его ладони, и тихий голос катится вниз по нитке, как свет по медному проводу.

Если я единым движением выдам себя, Господь поведет рукой, и жизнь моя – оборвется.

Я затихаю, как камень на дне реки, и вода все бежит по коже, по скорлупе, искрится, уносит мое тепло прочь от истока.

С каждым годом на дне тело моё остывает, сознание меркнет, душа растворяется, и так будет до тех пор, пока от меня не останется только бурун на поверхности, на донном песке – характерный волнообразный рисунок.

Марина стояла по пояс в воде и смотрела на дальний берег, где по полю, удаляясь, шел ее брат. Марина хотела было последовать за ним, но ещё не умела ходить.

Ангел Помаил находился в головах ее кровати, у окна. Он держал над ней правую руку, левой закрывал глаза и молился. Ангел только что узнал, что самолет, вылетевший три часа назад из Хитроу, в Пулково не прибыл.

5. Волк Ноя

Все твари земные старше человека. Мир уже существовал, когда Адам открыл глаза и увидел его. Из Священной истории мы не знаем, что предстало его юному взору. Наверное, река, подернутая золотистой рябью, дерево, уходящее кроной в небо, безымянное существо, шуршащее в палой листве.

Адам был первым человеком, первым волком был Гер, и к тому времени, когда Адам обнаружил себя лежащим на берегу реки Хиддекель, Гер уже обследовал сухую часть мира, оставляя мускусные метки на толстолобых валунах и белых стволах платанов. Гер не был травоядным, но и не охотился. Птицы, звери и гады питались тогда душистым ветром Едема. Ветер служил первым пристанищем Господа, и когда Творец отделился от ветра, он оставил в нем Благодать.

Первый волк получил свое имя от Адама, и означало оно – *Странник*.

Кроме Адамовых имен, Едемские твари помнили и те глаголы, которыми их сотворил Господь. Звериная глотка не может произнести эти звуки, да и не следует. Слова Господни даны всем видимым, кроме человека, вместо бессмертной души.

Гер был отцом всех волков, а Луна – матерью. Ее серые глаза видели Ангелов до седьмого чина включительно, и на холке, среди голубоватой шерсти, она носила прядь холодного огня, в том месте, где Господь коснулся указательным пальцем.

Гер и Луна спали в густой траве, когда Адам поднялся с земли и отмывался в реке от избытка глины, которой были заполнены его рот и уши. Волк вдохнул ветер. Запах нового существа тревожил его. Адам стоял на желтой речной отмели на коленях и пытался рассмотреть в воде свое отражение, но видел только водяных жуков, что ползали по дну среди горячих солнечных бликов.

До сих пор все видимые были равны, никого из них Творец не выделил, не уподобил себе. Волк понял, что Адам на особом счету у Создателя, и ревновал.

Адам поймал водяного жука, с хрустом съел. Волк поморщился и опустил голову.

Луна тянулась носом в его ухо. Гер фыркнул, лизнул волчицу. Глаза ее горели желтым любовным огнем.

Ночью Гер и Луна ушли за Тигр и там, в прозрачной роще, где росло дерево гофер, устроили первое в мире супружеское ложе.

Луна пела о прозрачном огне, что заполняет пустоту между небесными светилами, и о желтоглазых *Силах*, которым дана власть над этим огнем.

Гер спал у ее ног и слышал сквозь сон, как в животе у волчицы ворочаются первенцы – Рем и Ромул. Ему снились сизые камни, сонные поля конопли, скользкие отражения звезд в зеленой воде. Сон волка ничем не отличается от яви, и порой ему трудно понять, на каком он свете. Волк спит с открытыми глазами, но взгляд его не поймать.

Гер проснулся, потому что из его зрения внезапно исчез цвет. Волк вскочил, затряс головой, стал тормошить Луну. Волчица дремала. Ее миндалевидные глаза были наполнены слезами, в которых плавали тени щенков.

Мягкое брюхо ночи распорол удар грома. За рекой, в Едеме, кто-то заголосил.

Волки заскулили от страха. Луна прижалась к земле, прикрывая живот. Отец волков исподлобья смотрел, как от пахнущего дымом ветра сворачиваются листья на деревьях, и ощущал, что в нем рождается еще одно не знакомое раньше чувство – голод. Тупая боль раскручивалась у него в утробе, пробивала от *чутья* до когтей. Словно внутри сидел еще один волк, который хотел выбраться, царапался и глодал изнутри позвоночник.

Луна подскочила и побежала от *отца* прочь. Гер жадно глотал сухой мох и кусал землю.

Утром первого дня после грехопадения Адама и Евы Гер вкусил первую кровь.

Он бежал по берегу, держал след волчицы и вдруг увидел молодую лань на речной косе. Лань сломала ногу и оцарапала о камни спину. Видимо, упала с обрыва. Гер остановился и долго вдыхал запах крови. Его мускулы, как змеи на равноденствие, свивались в клубок. Восточный ветер после того, что случилось ночью, уже не мог насытить его.

Гер качнулся назад и совершил боевой прыжок.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.